

## ДИСКУССИЯ

**Л. ЭНГЕЛЬШТЕЙН:** В докладах, представленных на этой секции, рассматриваются отношения между личностью и обществом. Барбара Энгел сосредоточивает свое внимание на двух темах. Первая — как сами женщины расценивали свое положение в семейной жизни. Вторая — какая система семейных отношений, с точки зрения канцелярских чиновников, наилучшим образом служила для поддержания самодержавного строя в эпоху резких общественных изменений. Источниками исследования служат прошения о разводе, поданные замужними женщинами в особую канцелярию, которая обладала правом удовлетворять эти прошения вопреки действующему брачному законодательству.

В качестве основания для развода женщины требовали права на личную жизнь, свободную от физического насилия, психологического давления и других форм супружеского деспотизма. Рассматривая их дела, Энгел приходит к заключению о том, что канцелярские чиновники сами начинают применять новый для них «идеал» брака, основанный на чувствах. Создается впечатление, что чиновники и просительницы (не все принадлежавшие к образованным слоям населения) приходят к общему новому пониманию того, что ожидается от брака как такового и мужчинами, и женщинами.

В связи с этим я хотела бы задать докладчику два вопроса. «Права», к которым апеллируют просительницы, являются не юридическими, а моральными. Попытки в это время изменить существующий закон не достигли успеха. Первый вопрос: что именно вкладывалось в понятие «право» на закате Российской империи? И второй: тема этой секции — «социальные контексты». Какие изменения в структуре семьи — во всех социальных слоях — могли бы объяснить сдвиг во взгляде на роли жены и матери по отношению к авторитету мужа?

Марк Стейнберг рассматривает вопрос личности в социальном контексте не в перспективе отдельных судеб, а в перспективе общественного мнения. По его свидетельствам, Санкт-Петербургская пресса того времени изобилует примерами кризиса городской жизни. Газеты и журналы — здесь речь идет в основном о бульварной прессе — фокусируются на болезнях и упадке, в прямом и переносном смысле, в отношении моральных ценностей городского населения. Периодическая печать наделяет общественное настроение такими эпитетами, как «разочарованное», «подавленное», «озабоченное», «меланхоличное». Пресса обвиняет

в этом кризисе современный капитализм, поощряющий развитие индивидуальности и будто бы разрушающий традиционные социальные отношения.

Эта картина в значительной степени противоречит свидетельствам, представленным Барбарой Энгел. В делах о разводе модернизация воспринималась в позитивном свете, она ассоциировалась с уважением к достоинству граждан, включая женщин, ставила под сомнение традиционные отношения в семье, отвергала церковные установки в пользу «моральных прав». У Стейнберга, наоборот, современники видят в новшествах одно зло — слишком много свободы, «погони за счастьем» и разрушение традиционных нравственных ценностей.

Может быть, эта разница объясняется тем, что канцелярские источники относятся к более раннему времени — до того, как «опасности современности» были в полной мере осознаны? Или этот контраст отражает разные контексты: глубоко личные истории, представленные на закрытых слушаниях в канцелярии, с одной стороны, и публичное обсуждение общественной жизни — с другой.

Как и М. Стейнберг, О.Г. Усенко рассматривает средства массовой информации как выражение общественного мнения; в его случае речь идет о фильме. Анализируя 61 фильм, выпущенный между 1908 и 1919 гг., и сопровождавшие афиши, плакаты, сценарии и отзывы, он фокусируется на представлении идеальных типов мужчины и женщины.

Как его выводы соотносятся с теми, к которым пришли Энгел и Стейнберг? Хотя кинематограф был тогда более чем современным видом искусства, фильмы этого времени, как ни странно, утверждают, по мнению Усенко, традиционные моральные ценности. Возьмем, например, взгляд режиссеров на мужской и женский идеал. По словам Усенко, преимущественно «мужскими» ценностями считались верность общественному долгу, доблесть и храбрость, а «женскими» — скромность, целомудрие, заботливость.

Понятие об отношении между полами отражает традиционный «двойной стандарт»: добропорядочные женщины пассивны, верны в браке и в случае супружеской неверности вина лежит именно на них. В этих фильмах каждый человек сам отвечает за свой моральный выбор, но кино предостерегает о том, что, только следуя традиционным общественным нормам, можно добиться успеха и благополучия.

Короче говоря, большинство фильмов утверждает, на взгляд Усенко, традиционные нормы красоты и целомудрия. Может быть, таким образом режиссеры отвечают на те проблемы, которые описывают журналисты у Стейнберга? Можно ли предположить, что «создатели общественного мнения», пресса и кино, отвергали именно те изменения в нормах, которые приветствовали такие обыватели, как, например, женщины, просящие о разводе?

В докладе Б.И. Колоницкого тема личности не рассматривается в связи с повседневной или личной жизнью или вызовами традиционной морали, бросаемыми новыми реалиями капиталистического города. Докладчик сосредоточивает свое внимание на одном политическом деятеле, захватившем воображение российского общества в момент кризиса 1917 г., — Александре Федоровиче Керенском.

На вершине своей популярности Керенский был объектом безграничного обожания, опиравшегося, по словам Колоницкого, «на давний культ борцов за

свободу». Автор приводит слова Андрея Белого, который называет Керенского «новым человеком» и «человеком будущего». Позднее, когда Керенский утратил свою популярность, его описывали как слабого, истерического и нерешительно-го. Создается такое впечатление, что общество проецировало на Керенского те качества, которые оно само искало на разных этапах его политической карьеры.

Пользуясь категориями «традиционное» и «современное» в том смысле, в каком они употребляются в предыдущих докладах, мы можем задать два вопроса. Не выражало ли общество традиционное отношение к политической власти по аналогии с харизматическим образом царя, представляя Керенского воплощением исключительных духовных и моральных качеств? Или, может быть, российское общество видело в Керенском зачатки модели нового гражданского строя, при котором все, независимо от своего положения, должны взять на себя ответственность за политическую жизнь страны?

В докладе О. Великановой аргументируется положение о том, что крестьяне в 1920-е гг. были далеко не такими отсталыми, какими их представляли современные им горожане и интеллектуалы. Опираясь на такие источники, как письма крестьян во власть и в газеты, а также на официальные сводки, отражающие народные мнения, Великанова описывает различные формы коллективных действий, организованных крестьянскими группами с 1905 по 1920-е гг. Эти действия отражают, по мнению докладчика, стремление крестьян взять под контроль свою жизнь и демонстрируют осознание их классовый принадлежности. Цитируя Давида Хоффмана, докладчик интерпретирует их взгляды и поведение как свидетельство «модернизированного самосознания».

Невольно возникает вопрос, что общего эта история политической мобилизации имеет с понятием личности? Означает ли это, что крестьянские общины в это время отошли от таких традиционных для них коллективных патриархальных интересов и продвинулись в сторону уважения к отдельной личности? Доклад не содержит свидетельств того, что крестьянские союзы, например, требовали признания прав личности. Великанова также не рассматривает роль отдельных деятелей крестьянского движения. Возможно, они просто использовали новые формы политической деятельности для выражения традиционных коллективистских интересов?

Подводя итоги сказанному, надо отметить, что докладчики продвигаются в разных направлениях. Энгел говорит о том, что люди из разных слоев населения осваивают новое понимание «личности», увеличивая возможность достижения счастья в личной жизни. Стейнберг, в противоположность этому, показывает кризис «личности» и всего тогдашнего общества как такового в связи с растущим ощущением невозможности личного счастья. Усенко говорит о том, что такое новое для своего времени средство воздействия, как кино, развивает старые, традиционные шаблоны, стереотипы: герои, бросающие вызов устоявшимся социальным устоям, не найдут «ключ счастья». Колоницкий говорит нам о том, что Керенский, которого описывали как современного, нового человека и трактовали как театральную звезду, был обожаем на манер почитания святых. Великанова говорит о крестьянах, ведущих политическую борьбу нового типа, но не показывает их действующими как отдельные индивидуумы. Как можно примирить эти противоречивые образы?

Это разногласие напоминает сказку «О слоне и слепых». «Он похож на колонну», — сказал первый слепой, потрогавший его ногу. «О, нет! Он похож на канат», — сказал второй слепой, взявший его за хвост. «Да, нет же! Он похож на толстый сук дерева», — сказал третий слепой, потрогавший слона за хобот. «Он больше похож на опухало», — сказал четвертый слепой, потрогавший слона за ухо. «Он похож на большую стену», — сказал пятый слепой, потрогавший его за живот. «Он похож на трубу», — сказал шестой слепой, потрогавший его за бивень.

**А.Е. ИВАНОВ:** После такого блистательного выступления моего коллеги по группе комментируемых докладов профессора Лоры Энгельштейн мне остается лишь ограничиться некоторыми ремарками к прочитанным текстам.

Поскольку наиболее органично теме нашей конференции отвечает заглавием и содержанием доклад Б.И. Колоницкого, то я с него и начну. Казалось бы, историография личности А.Ф. Керенского столь обширна и всеохватывающа, что уже трудно прибавить к ней что-либо существенное. Однако Борис Иванович наносит на полотно коллективного исторического портрета этого деятеля новые сочные краски, детали, которые до сих пор оставались в тени. Они делают его более живописным.

Предложенное нашему вниманию историческое эссе по своей, как мне кажется, литературной стилистике напоминает документальный памфлет. Возможно, Борис Иванович не задавался такой целью, но объект исследования в своей сущностной ипостаси, видимо, исподволь продиктовал такую тональность его письма. Словно в стоп-кадре, перед нами предстает живой А.Ф. Керенский, уже военный и морской министр, в момент наивысшего, как утверждает докладчик, триумфа, во время самого знаменитого и самого успешного публичного выступления его перед публикой 26 мая 1917 г. на гражданском митинге-концерте. Предстает он уже в привычном амплуа зажигательного оратора на темы политического момента, и всё это по хорошо апробированной технологии популяризации и героизации собственной персоны.

Этот эпизод представляется ключевым в докладе. Он дает импульс авторскому размышлению над природой и обликом послефевральской государственной власти, на первых порах персонифицированной в образе Керенского — политика новой волны. Был ли он политиком новой генерации? Безусловно. Разве можно было себе представить кабинет царских бюрократов, скажем, военного министра Куропаткина или премьера Горемыкина, витийствующими перед многочисленной публикой? А этот — тут, рядом, открыт, доступен, кажется, протяни руку — и коснешься. Политический стиль, воплощаемый в фигуре Керенского, словно эпидемия, переносится, по наблюдению автора, в «комитетские классы» — к членам многочисленных советов и комитетов. В докладе обстоятельно показано, что новый митинговый стиль, стиль непосредственного общения с подданными, создавался не только самим Керенским, а и его политическими соратниками и неискушенной в политике творческой интеллигенцией.

В докладе выписано чрезвычайно ярко, памфлетно, как выражался интерес слушателей к Керенскому. Читатель получает ответы на вопросы, как и почему столпы русской культуры, словно соревнуясь, создавали своего кумира, творчески преобразуя его образ в почти божественного политического гуру. Вызывает

изумление высокая степень внушаемости образованных людей, усилиями которых во многом и создавался «идеальный гражданин России». Разгадка этого феномена в известной степени кроется в том, что у интеллигенции Керенский еще задолго до Февральской революции был на слуху как писатель и адвокат. В России адвокатов любили, тем более что он еще недолго посидел в тюрьме, что тогда являлось порукой порядочности личности.

Отмечу, что содержание доклада подтверждает суровое обвинение режиму Керенского, вынесенное в книге В.П. Булдакова «Красная смута», в том, что новые лидеры из бывших оппозиционеров вообще ничего не умели делать практически как управители государственной системы. Кстати, проблема не нова, об этом говорилось и писалось задолго до Февральской революции. Новая демократическая камарилья только и способна была призывать народ к самопожертвованию ради абстрактных идеалов революции, не очень-то думая при этом о хлебе насущном для него.

Доклад нацелен на рассмотрение генеалогии культа личности. В связи с этим возникает вопрос о соразмерности этого понятия с масштабом личности А.Ф. Керенского и степени его власти в структуре послефевральского политического режима. Мне представляется, что культ личности — это форма государственного управления, которая зиждется на непререкаемом, абсолютном авторитете власти. Обладал ли такой абсолютной властью наш герой, даже будучи министром юстиции, военным и морским, министром-председателем, ставший главнокомандующим, возглавляя директорию? Мне кажется, что нет. Культ личности — это надолго. Сталин умер в 1953 г., а отголоски его культа мы чувствуем до сих пор... Поклонение же Керенскому политически экзальтированной публики, далекой от реальностей властного закулисья, было мимолетным, как всякая популярность. Далее же его настигла политическая и властная изоляция и историческое презрение.

О докладе Барбары Энгел. В исторической феминологии его тема еще не запечатлелась в сколь-нибудь основательном исследовании. Она посвящена экстремальнейшему аспекту «женского вопроса» в России XIX — начала XX в. — беспредельному бесправью замужней женщины даже в привилегированной дворянской среде — и с точки зрения реалий естественного семейно-бытового права, и с точки зрения официальных законодательно-правовых установлений, включая и церковные. Новизна исследования Энгел определяется и тесной связкой его сюжета с историей правительственной политики в области семейного права, воплощаемой в деятельности Комиссии прошений на высочайшее имя отчаявшихся от мужского деспотизма женщин.

Доклад примечателен его источниковой базой — жалобами находившихся в безысходном положении жен многообразного социального положения. Изучение этих текстов посредством методик психологического, лингвистического, юридического анализа позволил автору подняться к первоначальным истокам российского феминизма, еще не обретшего форм общественного движения. Терминологический анализ документов позволил ей сделать немаловажное открытие: риторика женских писем постепенно обретает правозащитное звучание. Более того, она со временем перетекает в бюрократическое «творчество» чиновников Комиссии прошений на высочайшее имя.

Доклад Марка Стейнберга по сути дискуссионен и, надеюсь, вызовет интерес у историков русской культуры и общественной мысли. Думается, что автор доклада переоценивает информационную репрезентативность постреволюционной консервативной прессы и периодики (а она — основной источник его исследования), буйно витийствовавшей на тему духовной гнилости российского интеллигентного общества. Ведь была еще столичная либеральная, демократическая, наконец, революционная пресса и «толстая» периодика. Она пела не столь однородно-предвзятые песни, а отражала и выражала общественно-культурную жизнь во всех ее светотенях.

Автор абсолютизирует значимость деструктивных настроений, которые беспокоили, настораживали, пугали образованное общество. Конечно, фантом неизбежной, чуть ли не вселенской катастрофы тревожил души людей, и не без оснований. В авторской интерпретации он якобы обрел всеохватный характер, парализовавший созидательную жизнь российского общества лицемерием, жестокостью, цинизмом, уличным бандитизмом, проституцией, развалом семьи и тому подобным «свинцовыми мерзостями». Но все эти отвратительные общественные язвы во все времена сопровождали людскую жизнь, правда, с разной степенью выраженности. В железный век российского капитализма они усугублялись, дерзко вторгались в общественное бытие и сознание личности, а потому воспринимались с большей эмоциональной безысходностью. И всё же, полагаем, что однозначная оценка этих деструкций консервативной прессой в силу ее идейной и культурной зашоренности неправомерна. Все дурное, трактуемое ею тогда, не передавало разноцветья российской культурной жизни, заужало ее просторы. Не мракобес Буренин, а такие глубокие писатели, как М. Кузьмин, В. Каменский, Л. Андреев, А. Курприн, З. Гиппиус, Дм. Мережковский и множество иных творцов определяли культурно-философскую картину предгрозово́й эпохи. Российской общество начала XX в. отнюдь не утратило способности к саморегуляции, замещению отвратительного — лучшим, возвышено-прекрасным, так необходимым людям культуры Серебряного века, отмеченного развитием высокого искусства, наук, высшего женского образования, наконец, экономическим бумом и проч., и проч.

В целом же М. Стейнбергом предпринята плодотворная попытка исследования душевного настроения петербургского общества межреволюционного периода начала XX в. Хочется верить, что он продолжит начатое на исчерпывающе широком источниковом уровне, опираясь на всю совокупность столичных периодических изданий начала XX в.

Доклад Ольги Великановой написан в русле школы В.П. Данилова и дает убедительный ответ, почему советская власть отважилась на коллективизацию крестьянства. Не только потому, чтоб бесправные колхозы ей были необходимы ради подчинения сферы сельскохозяйственного производства интересам индустриализации и милитаризации страны. Но в первую очередь потому, что в крестьянстве советская власть усмотрела опасного политического конкурента, стремящегося к организационной консолидации во имя представительского равенства в органах власти с рабочим классом, способного отстаивать свои экономические, гражданские и общеполитические интересы.

**Н.Н. СМИРНОВ:** Хотел бы остановиться на двух моментах. Первый связан с комментарием, который я услышал по поводу доклада Марка Стейнберга. Было сказано, что он слишком пессимистично оценивает обстановку, которая царил в России в 1906—1916 гг., что на самом деле всё было далеко не так, всё это было «красиво, бело и пушисто». Для меня несомненно — докладчик в большей степени прав. Если мы проанализируем ситуацию, которая имела место в России в то время, то увидим, что пессимистические настроения в обществе преобладали, а оптимистические если и проявлялись, то у наименьшей части населения, но той, которая в то же самое время выступала как наиболее радикальная часть российского общества. Именно эти пессимистические настроения получили свое воплощение в Революции 1917 г. Общество оптимистическое революций не совершает, ему не до революций, потому что у него есть другие цели и задачи.

Конечно, в докладе следовало оговорить, что наряду с ярко выраженным пессимизмом, проявляющимся в настроениях российского общества, на втором плане существовал и известный оптимизм, но он все-таки был, и здесь Марк Стейнберг прав, задавлен этим самым пессимизмом. Общество было расстроено, и, когда мы говорим об обществе, то имеем в виду и личности, которые это общество составляли. Общество было расстроено той ситуацией, которая царил в стране: Революция 1905—1907 гг., история Первой и Второй Государственных дум отнюдь не прибавили оптимизма. Напротив, пессимизм российского общества многократно усилился.

Несколько замечаний по поводу доклада Б.И. Колоницкого. Это, несомненно, яркий и запоминающийся доклад, но, думается, говорить о культе Керенского применительно к исследуемой эпохе нужно с осторожностью. Соглашусь с А.Е. Ивановым: культа как такового не было; была популярность лидера, популярность вождя, однако она была сиюминутной. С Борисом Ивановичем я как-то говорил по поводу материалов, выявленных в Дипломатическом архиве французского МИДа. Это телеграммы посла М. Палеолога и министра А. Тома, который в то время находился в Петрограде, с их отзывами о том, что есть Керенский.

Напомню, что Палеолог и Тома получили от правительства задание разъяснить, что представляет собой новая российская власть и что представляет собой один из наиболее ярких министров Временного правительства Александр Федорович Керенский. В первых телеграммах, мартовских у М. Палеолога и апрельских у А. Тома, присутствовал полный восторг: Керенский — яркая личность, кумир публики. Однако 12 мая в телеграмме М. Палеолога и 30 мая 1917 г. (по старому стилю) в телеграмме А. Тома сообщалось о полном разочаровании этой личностью. Альбер Тома прямо указывал, что дальнейшее пребывание Керенского у власти может кончиться для России трагически. Скорее всего, человек, у которого есть культ, такую оценку вряд ли мог получить.

**В.П. БУЛДАКОВ:** Доклад М. Стейнберга способен не просто впечатлить, но и напугать. Очень хорошо, что он сделал оговорку: речь идет не столько о реальной ситуации, как о ее *восприятии журналистами* «модернизирующейся» российской городской жизни. Совершенно очевидно, что они замечали прежде всего то, что несет угрозу сложившимся ценностям. Столь же понятно, что

они писали в расчете на определенного читателя. А последний, между прочим, из общего потока информации всегда выделяет *тревожную* информацию — человека легче напугать, нежели научить.

Так или иначе, возникает вопрос: насколько интенсивны в действительности были процессы деструкции личности под влиянием «прогресса»? В том, что они действительно имели место, думаю, сомневаться не приходится.

Как мне кажется, при оценке страхов и тревог 1906–1916 гг. следует учитывать, что для российского типа личности характерно смещение и смешение представлений о реальном, воображаемом и символическом, особенно усиливающееся под влиянием социальных перемен. В сущности, вся русская литература подталкивала к утверждению именно таких «деформированных» интеллигентских миропредставлений. Но в том-то и дело, что любое существенное искажение информационного пространства чревато реальным разрушением привычной социальности. То, что столь выразительно со слов публицистов обозначил Стейнберг, может быть охарактеризовано как имплицитное ожидание развязки со стороны элит.

Однако я довольно скептически оцениваю «успехи» моделирования личности средствами немого кино, о которых докладывал О.Г. Усенко. Мне приходилось писать об особенностях расцвета массовой культуры предреволюционного времени, сердцевину которого составил «Великий немой». В свое время меня основательно просветил на его счет и один очень известный российский режиссер-документалист и специалист по истории кино (историк по первому образованию). Что ни говори, основу кинолента того времени составляли альковные и авантурные сюжеты, рассчитанные на крайне невзыскательного зрителя. Человек традиционного общества воспринимает подобный видеоряд как нечто чисто развлекательное, «картинки из другого измерения», не имеющие точек соприкосновения с реальной жизнью. Конечно, фильмы «про Вовочку» его увлекали, но вряд ли он начинал подражать ему в реальной жизни. Дореволюционный и даже постреволюционный кинорынок строился на чисто коммерческой основе — люди нуждались в релаксантах, они их получали.

В общем, фильмы Евгения Бауэра отклика у зрителя не находили. Более того, уверен, что в 1920-е гг. мимо него прошли и фильмы Сергея Эйзенштейна. Дело в том, что поток пошлых и порнографических лент заполнил нэповский киноэкран — ничего иного публича не хотела. Конечно, большевики пытались навести порядок в кинопрокате. Но, знакомясь с попытками его цензурирования, лично я так и не понял, чем допущенные ленты качественно отличались от запрещенных — и те и другие на полную мощь эксплуатировали амурные и плутовские сюжеты. Мне кажется, что настоящее моделирование личности средствами кино развернулось только в 1930-е гг. И это было связано скорее с появлением «нового зрителя» (из молодежи), нежели с самим советским кинематографом, успевшим новаторски самоопределиться еще в 1920-е гг.

Доклад О. Великановой также вызывает определенного рода сомнения. Первое касается самой реальности существования столь широкого движения за Крестьянский союз. Несомненно, что большевики панически боялись крестьянского активизма, а у страха, как известно, глаза велики. С другой сторо-



ны, ОГПУ в это время только и делало, что пугало власти всевозможной «контрой» — надо было хлеб свой отрабатывать. Следует учитывать особенности тогдашнего информационного пространства, а главное — его соотношения с социальной практикой. То, что крестьяне постоянно говорили о Крестьянском союзе, еще не означает, что они были готовы реализовать желаемое на практике. Во всяком случае, анализ «писем во власть» дает основания утверждать, что преобладали *смирные* просьбы о дозволении Крестьянского союза, дабы не чувствовать себя обделенными на фоне рабочих и чтобы хоть как-то противостоять низовому начальству.

Второе сомнение связано с желанием поставить несуществующий Крестьянский союз в контекст *модернизационных* процессов в российской деревне. Возникает кардинальный вопрос: от кого конкретно исходили предложения о Крестьянском союзе, в какой форме они были сделаны? На мой взгляд, существование данного движения — а в его распространенности сомневаться не приходится — никак не противоречит *архаизации* крестьянского сознания, связанного с возрождением общинного хозяйствования. Нельзя забывать, что убыль мужского населения в результате войн и революций повлекла за собой «феминизацию» деревни, которая, в свою очередь, не могла не привести к возобладанию традиционных культурных стереотипов (что вполне устраивало большевиков, ибо это могло осуществляться под вывеской «передовых» идей).

Представляется, что реальные модернизационные тенденции в деревне (а в этом также не стоит сомневаться) связаны с факторами совсем иного порядка. Так, в постреволюционную деревню хлынул поток демобилизованных красноармейцев, значительная часть которых была индоктринирована коммунистами. В деревне появились комсомольцы, селькоры, избачи — их деятельность несомненно вносила в жизнь деревни нечто новое. А в целом, на мой взгляд, модернизационные процессы стоит замерять только на личностном уровне, а здесь качественных сдвигов не наблюдалось.

**И. КОЭН:** Вчера с Плотниковым обсуждались отношения государства и личности. Сегодня есть и семья, экономика, искусство, есть уже много отношений. Мой первый вопрос для Барбары Энгел, показавшей интересную претензию к царю: можно ли говорить о том, что есть разные авторитеты, которые опираются друг на друга, например, авторитет в семье опирается на политический и наоборот, и играет ли это роль в конце XIX и в начале XX в.?

В докладе Марка Стейнберга меня заинтересовало, что существовала идея спасения от декадентства через волю, через героизм. Это очень важно, потому что и здесь есть связь с докладом Б.И. Колоницкого о проблеме вождя. Если обратиться к мировому контексту, можно отметить, что в конце XIX — начале XX в. в разных странах, где имела место индустриальная революция, возникала идея потребности в руководителе. Нуждаются в вожде не только в октябре 1917 г., есть «нужда вождей» еще до войны, даже в Германии: нужно, чтобы кайзер был «фюрером», это было новое явление. Тогда уже эта идея необходимости вождя, руководителя возникает всюду, и в том числе и в России. Победоносцев в «Московском сборнике» пишет в 1896 г.: «Нам нужно руководителей». «Что делать?» Ленина также можно рассматривать как книгу о вожде, ее основная мысль: мы нуждаемся

в «организации руководителей». Тогда это еще не культ одного человека, но такие идеи способствовали возникновению потребности в вожде еще до революции. Это культ фигуры вождя, еще не конкретного человека. Меня здесь интересует именно общий ландшафт европейский и американский. Не надо считать, что Россия в изоляции, есть общие течения. Статья Победоносцева в «Московском сборнике» была переведена в Англии. Так что есть течение, которое вышло из России и пришло в Россию.

Очень интересный доклад у О. Великановой вполне связан с темой нашего коллоквиума. Вы ведь говорили о лидерах Крестьянского союза. Можно ли сказать, что у лидеров Крестьянского союза была только коллективная самоидентификация? Можно ли говорить, что эти лидеры союза выстраивали не только идентичность крестьянства вообще, но и через эти события как индивидуумы — свою индивидуальную личность?

**А. СУМПФ:** Доклад О.Г. Усенко я прочитал три раза, он очень насыщенный, вызвал у меня интерес. У меня два вопроса. Во-первых, хронология. Почему вы начинаете именно с 1908 г., а заканчиваете 1919 г.? Это хронология производства или хронология государственного вмешательства в дела кино? Во-вторых, вам кажется, что Первая мировая война в общем ничего не изменила в сфере российского кино? Вы совсем не упоминаете Военно-исторический комитет, который обязан был заниматься выпуском фильмов о войне, но в основном производил фильмы о любви, всякие драмы в четырех или пяти частях для того, чтобы развлекать публику и чтобы также собирать средства на документальные фильмы. Вы говорите, что фильмы старались как-то не замечать войну. Но вы же знаете, что в начале почти каждого киносеанса была кинохроника, которая упоминала войну, конечно, в ограниченном виде, но все-таки упоминала.

Ваша типология очень интересна, но мне кажется, что можно еще более подробно иерархизировать эту тему, не только с точки зрения производства, но и по восприятию этих тем. Была ли российская специфичность в сравнении с Францией или с Германией? Это очень интересно. Какие фильмы смотрели? Какие фильмы обсуждали? На мой взгляд, тема восприятия в докладе отсутствует.

Как вы определяете влияние иностранных фильмов, а их было очень много в России, на тематику и монтаж российских фильмов? Можно ли говорить вообще, как вы это делаете, о фильмах, когда в каждом кинотеатре демонстрировали разные версии тех же картин, когда живое сопровождение, музыка и слова в них играли громадную роль, это же прежде всего немое кино?

Можете ли вы сравнивать темы или постановку этих ценностей, типологию которых вы замечательно создали в отношении кино, с темами и постановками в театре? В дискуссии о взаимоотношении театра и кино участвовало несколько тысяч статей в различных газетах и журналах этого времени.

Вопрос Б.И. Колоницкому: можно ли определить масштаб культа личности Керенского не среди интеллигенции или политической оппозиции, а среди народа? Среди солдат? Наверное, писали ему также и солдаты — была масса писем с фронта, из провинции, из городов. Можно их изучать, найти какие-то другие чувства, положительные или отрицательные.

**Н.Г. КЕДРОВ:** Начну с сомнения в продуктивности применения модернизационного подхода. Он предполагает всего два исторических состояния: некое исходное состояние — традиционное общество, своего рода начало исторического движения и конечный результат исторического развития — современное общество. Любое социальное изменение этот подход позволяет трактовать как, соответственно, модернизацию. В таком случае ответ на вопрос о социальных изменениях всегда будет до уныния однообразен. Это наблюдение позволяет высказать и ряд других возражений по более конкретным аспектам доклада О. Великановой. Я хотел бы подчеркнуть, что мои возражения не ставят под сомнение профессиональное мастерство автора доклада, напротив, свидетельствуют о познавательной креативности ее работы.

Показателем современных тенденций выступает политическая активность крестьянства. Но следует сказать, что и раньше на определенных этапах своей истории оно могло проявлять политическую активность. Примером тому могут служить крестьянские войны. Прощения и челобитные «во власть», которые автор, по-видимому, также считает свидетельством политического самосознания крестьянства, как массовый источник существуют с XVII в. Следует отметить, что и ранее крестьяне при возможности стремились принять участие в политической жизни страны. Например, государственные крестьяне участвовали в работе Уложенной комиссии при Екатерине II.

Таким образом, политическая активность крестьянства могла присутствовать и ранее, поэтому в данном случае более важны ее формы. Разумеется, последние соответствовали состоянию общественной жизни в конкретную историческую эпоху, в какой-то мере отражали устройство политической системы общества. В таком случае закономерен вопрос: было ли это лишь формальным копированием крестьянами форм политической активности, или изменения действительно касались осознания крестьянами своего места в обществе и государстве?

О. Великанова совершенно справедливо поднимает вопрос об изменении крестьянской идентичности, однако она не указывает, какие новые маркеры идентичности появились в политическом дискурсе крестьян исследуемого ею периода. Судя по докладу, можно сделать вывод, что крестьянство продолжало ассоциировать себя с прежним социальным типом, то есть с крестьянством. Движение за Крестьянский союз служит наглядным примером этой идентичности. Другие категории, характерные для осознания крестьянами внутренней градации, также существовали ранее. Так, деление на бедняков, середняков и кулаков т. е. на «худых», «средних» и «добрых» крестьян, по данным Е.Н. Швейковской, известно в источниках начиная с XV в. Значительные изменения в идентичности крестьянства, по нашим данным, происходят лишь с 1930-х гг. и связаны, прежде всего, с формированием колхозной системы. Именно тогда появляются новые маркеры идентичности сельского населения, с характерными для них социальными и политическими контекстами: колхозники, единоличники, сталинские ударники, администрация колхозов. Именно представителям некоторых из этих общностей были присущи признаки действительно новой для села профессиональной идентичности.

Наконец, следует сказать о новых формах политической самоорганизации крестьянства, которые в докладе также трактуются как проявление модер-

ных тенденций. Сельские советы, различные комитеты, кооперативы и другие формы самоорганизации действительно широко распространились в деревне в годы революции, а затем многие из них существовали при НЭПе, но по данным российских историков-аграрников В.П. Данилова, В.В. Кабанова, В.А. Саблина, в общественно-политической жизни деревни 1920-х гг. господствовала крестьянская община. К тому же самоорганизация связана не только с осознанием особых классовых интересов, но и с дезинтеграцией общества, т. е. с одним из проявлений структурного кризиса российской цивилизации. Это, так сказать, обратная сторона медали. В целом я не отрицаю наличия социальных изменений в российской деревне первой трети XX в., но под вопросом остается то, какие основания выступали факторами этих социальных изменений? В.П. Булдаков в своей знаменитой «Красной смуте» аргументированно показал, что в основе самоорганизации различных социальных групп эпохи российского структурного кризиса лежали наиболее архаические пласты человеческой психики.

**А.Ю. ПОЛУНОВ:** У меня два вопроса к Б. Энгел. Во-первых, вы пишете, что большинство петиций подавали жены купцов. Почему? Потому, что купечество занимало промежуточное положение между дворянством, которое эти проблемы уже решило, и между простым народом, который этих проблем еще не чувствовал? И второй вопрос. Участвовали ли женщины императорской фамилии в решении судебных замужних женщин, апеллировавших к милости императора? Принимали ли они участие в решении этих вопросов?

Несколько небольших комментариев. Вы пишете, что к концу XIX в. смягчается представление о неравенстве мужчин и женщин в обывательской среде, и делаете этот вывод на основе сборников правил хорошего тона, которые издавались в конце XIX — первой четверти XX в. Мне кажется несколько преждевременным делать такие глобальные выводы на основе ограниченного круга источников. И по поводу позиции чиновников Особой канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя: мне кажется, в определении этой позиции большую роль, помимо других факторов, играла еще межведомственная борьба. Все слова к концу XIX в. уже были сказаны, и чиновники просто жонглировали разными концепциями и логическими схемами для того, чтобы отстоять интересы своего ведомства. Известен случай, когда министр финансов проявил себя противником местного самоуправления, для того чтобы утопить проект своего противника, министра внутренних дел Горемыкина. Необходимо учитывать этот фактор межведомственной борьбы.

**Д. ФАЙНБЕРГ:** У меня вопрос к Борису Ивановичу Колоницкому. Когда читала ваш доклад, я думала очень часто о слове политическая celebrity. Конечно же, конец XIX — начало XX в. — это как раз тот период, когда понятие celebrity начинает развиваться. Я хотела спросить, какую роль играл сам Керенский в развитии и формировании своей celebrity, своей публичной персоны, и что нам это говорит о нем как о личности. Спасибо.

**К.Н. МОРОЗОВ:** Я хочу оппонировать одному из ключевых тезисов в докладе О. Великановой. Она говорила о том, что новое политическое поведение и но-

вая идентичность крестьянства были достаточно спонтанны, свободны от патронажа со стороны кого бы то ни было, например социалистов-революционеров. Должен сказать, что эта точка зрения распространена среди историков крестьянства. Мне приходилось дискутировать и с В.П. Даниловым, и с В. Кондрашиным о степени и форме влияния политических партий на крестьянство.

Сама выработка новой идентичности и нового политического поведения не была только делом самого крестьянства. Крестьянство это пыталось сделать. Но как возникали эсеровские крестьянские братства? Первое крестьянское братство — В. Чернов, будучи в тамбовской ссылке, сумел литературно и организационно оформить чаяния самих крестьян и создать устав. А фактически это было движение навстречу интеллигенции и крестьянства. Почему эсеровская партия получила такую серьезную силу и популярность в крестьянстве? Во многом потому, что со времен разгрома «хождения в народ» она кинулась изучать крестьянство и во многом сумела отразить его чаяния. Если говорить о Крестьянском союзе, его программу писали эсеры в 1905 г.; кадровый состав всех Крестьянских союзов в 1905 г., в 1917 г. — это поголовно лидеры крестьянских братств. Формы партийные, нелегальные эсеровской партии — это не формы КПСС, привычные для нас, которые сверху управляют всем. Там всё значительно сложнее.

**Г.А. ОРЛОВА:** Мне кажется, вопрос о связи аффективности и личности, затронутый в докладе Б.И. Колоницкого, перспективен для тематики коллоквиума. Если в рамках романтического проекта аффективность была надежным способом раскрытия эссенциалистского «я», то случай Керенского позволяет задуматься о радикальном пересмотре этого соотношения в театральных обстоятельствах публичной политики современности. Здесь личность политика рождается и прорабатывается под обожающим взглядом публики. И если рассматривать народную любовь как мощный ресурс для конструирования политической субъективности, то возникает вопрос о дифференцированном контекстуальном описании этого социального аффекта в разных обстоятельствах российской/советской истории. Можно ли и нужно ли различать экстатическое обожание Керенского и верноподданническую любовь к государю императору, беззаветную любовь к советским вождям и подчеркнута аффективное отношение к партии? Второй вопрос — о влиянии длительности политизированного чувства на форму социального аффекта и его персонализирующие эффекты. Автор рассказывал нам о сильном недолговечном чувстве, ядром которого является «быстротекущая» эйфория. Чрезвычайно любопытно, какие режимы используют власть и общество для заморозки и стабилизации сильных социальных аффектов?

**Б. ЭНГЕЛ:** Начну с ответа на вопрос Лоры Энгельштейн. Социальные перемены — источник тех перемен, о которых я говорила. Мне кажется, что у просительниц причины перемен — это распад сословного строя, рост рыночных отношений и развитие социальных отношений, построенных, коротко говоря, на личном поведении и личном достижении. У чиновников причины перемен были другие. Как группа чиновники канцелярии стали более образованны к концу

XIX в., и большинство из них получало образование на юридических факультетах. Изучение правоведения оказало на них какое-то влияние, но какое именно, это трудно сказать точно. Также на них оказали влияние перемены, которые происходили в общественном дискурсе, включая дискурс женщин.

Ответ на второй вопрос. Большинство просительниц было из крестьянства, 55–57 % были крестьянки, и они никогда, ни разу не употребили ни слово «личность», ни фразу «семейный деспотизм». Было также большое количество просительниц-мещан, 23 %. Они употребляли эти слова очень редко. Я сосредоточивала внимание на женах купцов именно из-за того, что они принадлежали к переходной, в социальном смысле этого слова, общественной группе. Но надо сказать, что дворянки тоже употребляли слово «личность» и фразу «семейный деспотизм», по крайней мере до конца XIX в.

**М. СТЕЙНБЕРГ:** Конечно, было много интересных и полезных вопросов, замечаний, невозможно сейчас ответить на все. Но это очень полезно для работы. Скажу несколько слов по поводу самых общих, часто задававшихся вопросов. Были ли исключения из этого пессимистического дискурса? Была ли другая сторона у этой общественной монеты? Конечно, пессимистическая сторона — только часть общественных настроений, придававшая эмоциональный колорит обществу. Конечно, безусловно, была, и другая сторона, это даже частично отражено в докладе. Но это не в фокусе моего внимания.

Конечно, встречались идеи в России этого периода, что было развитие личности современного общества. Существовала идея, что свобода — это эмансипация личности. И, как я сказал, была идея о героической личности, о том, что жить современной жизнью нужно, это обязательно и необходимо. Относительно идеи самоубийства многие авторы утверждали, что самоубийство — это не упадок личности, а проявление свободы воли, героизма человека, который силен разумом. Короче говоря, пессимизм — не единственный ответ о состоянии русского общественного мнения в действительности.

Но тот вопрос, который я объясняю, очень показателен. Это не только точка зрения декадентской интеллигенции, это было очень распространено и даже демократично. Важно, что это зависит от точки зрения, но это очень опасная точка зрения. Такой пессимизм, или скептицизм, — это течение времени, и это опасно для современности, для modernity, это опасно для либерализма. Это опасно для капитализма. Это опасно даже, как Ленин писал, для социализма и для революции. Не случайно, что Ленин сам часто выступал против таких течений даже среди большевиков. Он, конечно, прекрасно понимал, что такой взгляд на современность очень опасен для революции, для прогресса, в который он верил, и можно сказать, что большевизм — часть этой культурной политики, выступавшей за то, чтобы запретить такие пессимистические настроения даже в народе, даже среди революционеров.

**Б.И. КОЛОНИЦКИЙ:** Большое спасибо всем, кто прочел доклад. Вопрос Лоры Энгельштейн: «Какой частью слона является Керенский?» Не уверен, что «слон модернизации» существует, не уверен в том, что вообще этот «зверь» реальный. Мне не кажется, что через Керенского процессы модернизации

можно почувствовать, но через образы Керенского мы можем посмотреть на другие процессы.

А.Е. Иванов говорил о портрете Керенского. Я не пишу подобный портрет. Я не считаю, что актуальная задача сейчас — создавать новую биографию Керенского. Есть хорошая книга Р. Эбрахама, хотя и не свободная от недочетов, ее следует перевести на русский язык. Биография Керенского менее интересна, чем история его образов. Я коллекционирую различные образы, пытаюсь составить представление о том, какие образы отсутствуют. Известно, например, что Керенского не называли отцом в отличие от монархов и последующих вождей. Но вот братом называли, старший брат — это частый эпитет.

Вопрос о культе личности. Я с огромным интересом буду изучать источники, названные Н.Н. Смирновым, когда они будут опубликованы. Оценки Палеолога — вполне вероятны, но если Альбер Тома так говорил в конце мая, то это будет сенсация, тогда Альбер Тома Керенскому говорил одно, а в своих докладах в Париж — совершенно другое. Все-таки думаю, что в июне популярность Керенского была необычайно велика, иначе бы русская армия не пошла в наступление, «наступление Керенского». Керенский был персонифицированным символом российской революции, даже осенью 1917 г. появляется стихотворение Мандельштама, посвященное Керенскому, и в это время его любили многие.

Куль личности Сталина действительно существует и ныне, у Керенского же сейчас нет поклонников. И мы уже давно спорим с Яном Плампером, который написал очень хорошую книгу о культе Сталина. Ян полагает, что культ вождя возникает в закрытых обществах, в условиях давления и диктатуры. Мне кажется, что это не совсем так, и культ Муссолини, и культ Гитлера возникали в условиях очень жестокой политической конкуренции, острой борьбы за власть. Именно в это время были найдены очень яркие формы и образы, а впоследствии они тиражировались. Не в закрытом пространстве появляются культы. Кажется, что этому противоречит культ Сталина, но это тоже не совсем так, ибо культ Сталина невозможно понять вне культа Ленина, это очень важная связка. Если же говорить о месте Керенского, то мне кажется, что в 1917 г. культ борцов за свободу, сложившийся в условиях политической культуры подполья, получил государственную поддержку, государственную санкцию и был тиражирован и пущен в иные совершенно слои. Доклад мой, собственно, о генеалогии культа личности. Без культа Керенского, мне кажется, сложно представить последующие культы.

Celebrity — это очень интересно, но в русском языке мне сложно подобрать аналогичное слово, поэтому это затрудняет применение этого термина. В то же время можно говорить о появлении «революционного рынка», ажиотажного спроса на революционную символику. Керенского «покупали» в 1917 г. и верхи, и низы, люди приобретали его портреты, значки, бюсты. Вождь стал объектом потребления, и это о многом говорит.

Возвращаясь к вопросу Л. Энгельштейн. Может ли изучение репрезентации Керенского сказать что-то про модернизацию. На мой взгляд, мы можем здесь сказать что-то про попытки конструирования новой политической культуры в условиях антимонархической революции. Речь идет о предписанных эмоциях в сфере политического. Монарха нужно было любить. Гражданин же

вовсе не обязан любить высшего представителя власти, вечная бдительность — залог свободы, высшая добродетель гражданина — это подозрительность, так говорил Робеспьер. Власть, выросшую в республиканской системе, нужно подозревать. В случае Керенского видно, что он хотел, чтобы его любили, и его хотели любить.

Самое последнее — это замечание в связи с оценкой доклада Марка Стейнберга. Речь шла о противопоставлении «текстов» и «реальности». Мне не кажется подобное противопоставление плодотворным. У меня для этого есть и личные мотивы. Один хороший ленинградский историк сказал: «Борис Иванович Колоницкий пишет про слухи, а я пишу про то, что было на самом деле» (*смех в зале*). «На самом деле» были слухи, понимаете? (*смех*). Что же такое реальность? Как мы ее можем пощупать? Уголовная статистика? Нет ничего более ненадежного, чем уголовная статистика, в этом меня убедили те источники, которые я изучал. Однажды же я получил и иное подтверждение. Я присутствовал на заседании, посвященном преступности в Санкт-Петербурге, речь шла о том, что в Москве ситуация выглядела статистически более благоприятной. Но присутствовавший милицейский генерал пожал плечами с большими погонями и сказал: «В Москве по-другому считают» (*смех в зале*). Так что я бы не противопоставлял «тексты» и «реальность».

**О.Г. УСЕНКО:** А.Е. Иванов и В.П. Булдаков мне разными словами сформулировали одно и то же замечание. Сходятся они в том, что, по их мнению, российское дореволюционное кино вряд ли могло моделировать что-либо, будучи сугубым развлечением. Но тогда встает вопрос о том, что такое моделирование, как его понимать. Есть такое расхожее мнение (сейчас в нашей стране оно обсуждается в связи с тем, что на телевидении засилье чернухи, негатива), что повторяющиеся штампы рано или поздно воспринимаются как норма, у детей это явно проявляется. Конечно, встает вопрос, как с этим у взрослых.

Я под моделированием понимаю процесс, с одной стороны, предоставления публике готовых образов восприятия и поведения, а с другой — усвоения публикой того, что ей предлагается. Это уже отдельный вопрос, насколько успешно такое усвоение. Единственное, что сейчас я могу вспомнить, в литературе упоминается о прямом копировании публикой внешнего вида, прически, одежды звезд дореволюционного кино: Витольда Полонского, Веры Холодной. А вот по поводу интеллектуальных и тому подобных заимствований надо проводить уже специальное исследование.

На другие вопросы я отвечу коротко. Почему именно такой хронологический период? Во-первых, 1908 г. — это рождение российского кино, первый законченный фильм («Понизовая вольница»), а 1919 г. — это конец частного кинобизнеса. В этом промежутке кино было делом частных лиц, государственный текущий контроль отсутствовал, поэтому здесь наиболее благоприятный материал для анализа, так сказать, психических материй.

Почему Первая мировая война ничего не поменяла в сфере отечественного кино? Первые отклики на войну были ура-патриотические. Это еще 1914 г., начальный этап войны, пока отрезвление не пришло. А с 1915 г. публика просто не желала видеть эти ужасы, и был соответствующий соцзаказ — либо



явно, либо скрыто, даже на государственном уровне. Специальный комитет снимал всё те же слезоточивые мелодрамы именно с целью отвлечь людей, потому что главным, по-видимому, действительно было то, чтобы люди меньше думали про войну.

Насчет специфики российских фильмов по сравнению с иностранными (французскими и германскими), как они воспринимались в обществе, одинаково или по-разному, тут я ничего не могу сказать — не проводил такое исследование.

Насколько значительно было влияние иностранных фирм в сфере кинобизнеса? До 1912 г. было значительным, но успех отмечался в основном у комедий и авантюрно-приключенческих лент, где всё строится на сюжете, на изменении ситуации. Что касается психологических картин, то лишь ленты российского производства пользовались успехом. Было даже выражение «развесистая клюква» — когда иностранцы пытались снимать фильмы на российском материале, а публика вместо того, чтобы слезу пускать, смеялась.

Можно ли говорить о фильме как некоей единице, коль, например, в кинотеатрах были разные версии музыкального сопровождения? Ну, версии не слишком различались. Конечно, вырезались кусочки, но и в советское время, как я помню, на разных сеансах у одного и того же фильма была разная продолжительность — и концовку могли отрезать, чтобы уложиться к следующему сеансу. Это на самом деле не сильно сказывалось на восприятии ленты. А по поводу музыки... Несмотря на то, что таперы играли разные, музыка всё равно была типичная — так сказать, христианско-европейская а набор мелодий для сопровождения достаточно ограниченным. Так что и это не мешало публике получать сходные впечатления о фильме.

И последний вопрос: есть ли аналогии между российским дореволюционным театром и кино? Да, конечно. Эволюция была такая: от использования кинодейателями театрального языка до формирования особого киноязыка. Главные свершения на этом пути сделал в 1916—1918 гг. режиссер Евгений Бауэр.

**О. ВЕЛИКАНОВА:** Ответ З. Галлили. Мое сообщение о движении за Крестьянский союз как свидетельстве формирования новой идентичности в крестьянстве я считаю вполне уместным в контексте этой дискуссии. Главным сюжетом обсуждения здесь является становление современного самосознания в советскую эпоху. Доклады рассматривали эту проблему в основном на уровне индивидуального сознания, я же исследую становление современного самосознания на уровне массового сознания. Мне кажется, это вполне уместно в этой дискуссии.

Об источниках. Дискуссия о репрезентативности и достоверности сводок ОГПУ продолжается с момента открытия советских архивов, и в конце концов историки активно обращаются к этому источнику, признав тем самым, что они не более предвзяты, чем другие традиционные источники, например газеты, воспоминания или официальные документы. Адекватность сводок о настроениях населения проверяется сравнением и сопоставлением их данных с документами иного происхождения, например жалобы в государственные органы, письма граждан в газеты, материалы селькоров и рабкоров, дневники и т. д.

Конечно, профессиональный долг исследователя заключается в критическом подходе и источниковедческом анализе этого источника. Как важно перепроверять факты, приводимые в сводках, убедительно доказал А.Г. Тепляков, вскрывший факты фальсификации данных о количестве и деятельности Крестьянских союзов в Сибири в 1920–1921 гг., якобы ликвидированных ЧК. В этом он опирался на оперативные данные Сибирского ЧК, что еще раз говорит в пользу открытия архивов ФСБ.